
Лифт для потерянных вещей
Pustoy

Pustoy

Лифт для потерянных вещей

«Автор»
2026

Pustoy

Лифт для потерянных вещей / Pustoy — «Автор», 2026

Дом на Лучевой, четырнадцать, раньше был гостиницей. Мила Чагина выросла здесь, знает всех дворовых собак, но ни разу не видела в лифте кнопку «Карманы».За дверями хранятся потерянные вещи. Любую можно забрать в обмен на дорогу к знакомому месту: сядешь в нужный трамвай, свернёшь в свой переулок и всё равно пройдёшь мимо. Однажды Мила и её бывшая лучшая подруга Геля встречают в лифте старого почтальона. Годами он возвращал людям пропажи за свой счёт. Через неделю в городе не станет последнего места, к которому он ещё умеет выйти.Чтобы помочь ему, подругам придётся найти прежних хозяев нескольких вещей. И поговорить о бумажном городе, который они построили вдвоём, а потеряли каждая по-своему.Текст романа и иллюстрация обложки созданы с помощью искусственного интеллекта.

© Pustoy, 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Чужая буква 6
Глава 2. Город на подкладке 10
Глава 3. Стол пропажи 14
Глава 4. Зонты по росту 18
Глава 5. Четыре уха 22
Глава 6. Платформа без поездов 26
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Pustoy
Лифт для потерянных вещей

Pustoy
Лифт для потерянных вещей

Глава 1. Чужая буква

В тот четверг мой рабочий день начался с четырёх секунд тишины. На экране женщина в сером платье остановилась у окна. На улице кто-то несколько раз нажал на дверной звонок. Женщина подняла руки за голову и стала вынимать шпильки. С редакторской точки зрения передо мной стоял весёлый выбор. Написать «звонят в дверь» значило вложить зрителю в ухо ровно то, что он услышал бы, если бы мог. Написать «не отпирает» было самоуправством. Сказать, что эта женщина уже знала, кто к ней явился, — вообще повод выгнать меня к чертям из профессии.

В конце концов я написала: «Три коротких звонка. Шпилька падает на пол». Шпилька и в самом деле упала, хоть была очень тонкая и падала так тихо, что монтажёр потом обвинил меня в слишком сильной любви к реальности.

— Люди, Чагина, уже видят, что она упала, — сказал он.

— А пальцами по полу потом пошарит? Пошарит. Моя задача дать время понять, зачем она наклонилась.

— А если он со звуком смотрит?

— Со звуком заметит, что кто-то под дверью топчется, пока эта дама к следующей жизни готовится. Давай увижу следующую версию и вернусь.

Мне двадцать пять. Субтитры я делаю с двадцати, а режиссёры и до этого говорили мне: «Чагина, не проживай мою картину за меня». Когда-то директор школьного театра отобрала у меня детскую хлопушку за преждевременное закрытие спектакля. Взрослая моя работа гораздо труднее: в детстве достаточно было угадать, когда опустить занавес.

Бабушка Полина уехала к сестре до холодов и оставила мне квартиру на Лучевой с поручением никого не заводить. Она помнила, как два чистых подъездных кота однажды превратились у меня дома в одну грязную собаку. Мне тогда было семь. Полина ничего не забывала.

Ждать новой версии фильма я пошла с мусорным пакетом в руке. На межэтажной площадке кряхтел новый водомер. Дом на Лучевой строили для рабочих городского кукольного театра. Театр давно переехал, рабочие завели семьи и кухни в бывших гостиничных номерах. Внизу остались бронзовые кнопки: позвать горничную, попросить кипятку, подать жалобу. Ни одна не работала. После дождя от бронзы пахло мокрыми пятаками. Таксистам и сейчас говорили: «К гостинице на Лучевой». Они знали, что это жилой дом.

У почтовых ящиков сидела Майя Журавлёва. В обычный день она сидела с книгой за домом, на высокой табуретке от списанного рояля. По четвергам уезжала с подругой на спортивное ориентирование. Где именно они ориентировались, Майя не говорила. Каждую осень вывешивала на балконе сушить новую пару ободранных о коряги штанов.

— Мила. Ко мне приходили из правления нумеровать ящики. Мой по ошибке переставили вот сюда, а сверху букву взяли. Букву не видела?

— Куда её дели?

— Ну, если бы я знала, куда, так я бы и пошла туда и взяла, а не стала бы сидеть у себя в доме на пакете с землёй. У меня «Ж». Её вырезал покойный муж, латунную, с двумя дырочками. Пол подметали у первого окна в зале. У Лина там сорок лет буква «Л», а ему оставили. Несправедливо. Я вовсе не жду, что ты немедленно развернёшь поиски, но если попадётся…

— Я припомню, как вас зовут.

— Глупая. Мне Володя лет сорок их делал, а ты говоришь «припомню». Первую вырезал такую, что на ящик не налезла. Прислонил к стенке и до восьми вечера мял шапку в руках. Хотел спросить, пойду ли за него замуж. Ну как отказать человеку с такой большой буквой?

Я позвала её с пакета на подоконник. Земля предназначалась для болотного хлопка, который Майя разводила в старой кастрюле на балконе. Её муж Володя успел от неё уйти, пожить с другой и вернуться. Про каждое из этих событий в доме до сих пор рассказывали по-разному. Я помнила его худым и быстрым, в чёрной кепке с отпоротой фабричной эмблемой. Майя скучала по нему и ни одному соседу не позволяла забыть, какой это был невыносимый человек.

Я вынесла пакет и решила купить хлеба. Из магазина тянуло тёплой коркой, а из распахнутой подъездной двери, самой бы мне не пришло в голову, — мокрым сукном. Дождя не было уже три дня.

Ангелина Воронцова вышла из магазина через секунду после того, как я закончила принимать это решение. Вынесла сразу четыре палки хлеба, прозрачный рюкзак, в котором лежали комочки вполне голубой ваты, да большую деревянную коробку за цепную ручку. На грани октября она всё ещё ходила без куртки, в длинной синей джинсовке на голые запястья. Спереди к ней было пришито две бирки из-под совсем другой одежды. На левой, где обычно красиво висят медали у порядочных людей, красовался настоящий кругленький баклажан.

— Привет, — сказала я.

— Здорово. Работаешь? У меня нож в коробке, если отломить, упадёт.

Я преуспела в медленном взятии палки хлеба за конец, который она мне протянула.

— Съесть или подержать?

— Съешь, если осилишь. От театра грант дают за хорошую кормёжку. Надо занести за этим следующим прохожим целых пять штук, а ещё что-то театр опаздывает.

Мы познакомились ровно двадцать лет назад. Геля, на год старше, показала мне, как из-под фонаря во дворе попасть сливовой косточкой в пустой таз под окном. Весь август я ждала, когда она проснётся и выйдет. Умела Геля многое из того, чего я и сейчас не сумею. Я бралась за слова, она работала руками, вместе получался целый маленький театр. В семнадцать мы поссорились, и кое-как научились расходиться на лестнице, не поднимая глаз. Теперь я снова жила в квартире Полины, а Геля по-прежнему на восьмом. Простой вопрос — как дела? — следовало задавать восемь лет назад. Теперь он не шёл у меня с языка.

— У тебя семечка в волосах, — сказала я.

— Настоящая?

Я пригляделась. Тонкая бумага отгорнулась под пальцем как настоящая. Но обратная сторона белая, а под мякотью проклеена пружинка.

— Делаете с птицами что-нибудь?

— С буфетом. Из одного старого дома выходит каждое утро мужик и всей семьёй бесконечно собирает пучок редиски. Должна получиться тяжёлая драма, — сказала Геля. — Осенью работы много. У вас тоже?

— Три коротких звонка и шпилька.

Она толкнула носком металлическую дверь. Когда-то «три коротких» было нашим условным звонком: я пришла, выноси краски и ножницы. Не уверена, что она это вспомнила. Но Геля придержала дверь, пока я входила.

Майя Журавлёва успела уйти по делам к своему хлопку. Мы с Гелей нажали кнопку лифта. Вниз пришла обыкновенная сухая кабинка с центробежным рисунком на потолке и круглыми следами от крема на боковой стенке. Наши пассажирки любили мазать руки на ходу. Кроме того, кто-то нарисовал в пятне сердитую морду, чуть похожую на преподавателя труда Петра Герасимовича, ещё жившего пару лет назад в этой же колонне квартир двумя этажами выше нас. Внизу, между белой стенкой и желтоватым порогом, что-то поблёскивало.

Я наклонилась и подняла латунную букву «Ж». С ладонь. Две дырочки, приметные засохшие капли клея вокруг, отогнутый, не до конца расплющенный нижний лучик. Под буквами обычно так пахнет рукой прежнего хозяина, хоть лбом об стену, при всём желании не сочинить к такому аромату подходящую подпись. Было это либо моторное масло, либо старый скипидар.

И только обращённый ко мне вдавленный край одной дырки, словно через неё протягивали нитку, оставил на ладони след. След выдулся заодно с горячим моим дыханием.

— Наша Майка её утром выспрашивала, — сказала я. — Ты на каком сегодня этаже выходишь?

Обычно люди дома выходят на одном этаже всегда. В это время кнопки от одного до девяти погасли. Седая особая пустая строка после кнопки «Стоп» тоже мигнула и показала белым слово «КАРМАНЫ». Никаких технических возможностей у домашнего лифта для таких надписей, насколько мне было известно, за прошедшие несколько лет не завелось.

— У тебя эта штука что-нибудь делает? — спросила я Гелю и ткнула буханкой в коробку на цепи.

— Туалетная бумага с крыльями. И бумажный же кот. Если тебе из-за них везде мерещатся карманы, мы можем не ехать до самого верха.

— У тебя разве тоже…

Геля перестала улыбаться. Внизу, возле шестигранного болта, появился чёрный кошелёк. Защёлка вздрагивала, пасть раскрывалась всё шире. Скоро в дыру мог бы пролезть взрослый в пальто. Пахло леденцами и мокрыми автобусными билетами. У моей Полины когда-то была сумка на такой рыбьей застёжке. Из магазина она возвращалась с анекдотами, газетой и непременно с одним фундуком, завалившимся под подкладку.

— Какая у меня в руке вещь? — спросила Геля довольно спокойно. — Что ты видишь?

— Театральный кот в коробке. Хлеб. Вату.

— А ты с собой несёшь букву. И что, загорелось, когда ты её назвала?

— Я не называла «карманы». Я вообще такого не звала.

Двери раскрылись. Никакая часть нашего дома не могла бы действительно поместить в себя тот самый длинный бархатный пролёт, по бокам которого, как тёмные блины с оттопыренными губами, висели настоящие карманы. Два были совсем новые, ещё с заводской линией на внутреннем шве. У ближайшего свисало наизнанку маленькое собачье ухо из красной щетины. Дальше простор светлел, сходился в неглубокий круглый зал. Там лежали пустые шарфы, отряхнутый от марганцовки берет и совершенно внятно слышалось, как кто-то не смог завести свой старый карманный будильник.

— Чтобы я укладывалась в недопустимые совпадения, — сказала Геля, — этого маловато.

Я ещё думала, может ли всё это оказаться Гелиным фокусом, когда кабина качнулась, будто паром у причала. Кто-то зашаркал в проходе. Из-за бархатного кармана выглянул седой человек в выгоревшей куртке. На медной пуговице возле горла у него перекрещивались почтовые трубы.

— Ничего чужого в подкладку не убирали? — спросил он. — Понятно. Вы по поводу какого движения? Вверх или наружу?

— Мы домой, — ответила Геля. — Это вверх или наружу, на ваше усмотрение.

— В любом случае сначала рекомендую посмотреть, где у вас сейчас дом. — Человек приблизился. На лбу у него по самой линии волос виднелся крохотный светлый шрам в форме звёздочки. Я помнила такой шрам у почтальона десять лет назад. Он с удовольствием позволял деревенским малышам чесать пальчиком тонкую гладкую кожу, рассказывая каждому следующему, что в молодости работал как раз в самой главной труппе цирка, а потом кто-то уронил одну лишнюю звезду, попал прямо в эту точку. Мы с Гелей ему не верили. Но носили зимой хлеб, если ему случалось развозить квитанции позднее пяти вечера.

— Борька-почта? — сказала она.

— А вот если бы я здесь состарился, вы бы, Ангелина, первого обращения подумали добавить отчество.

— Борис Акимович?

— Годится. Мила Чагина, покажи, что там у тебя.

Он осмотрел букву «Ж» и сказал, что буква найдена снаружи, пока ещё можно успеть вернуть без всяких затруднений: сейчас наружная девочка отнесёт её на свой этаж, и если её настоящий человек там окажется, никто в знак благодарности не должен будет отступаться от чего-нибудь ещё. В этом сообщении самой неприятной была скорость, с которой семейное моё долгожданное приключение переходило в стадию расхождения по домам.

Но Геля молчала. Состояние деревянной коробки с цепной ручкой, которой она сейчас прижимала к локтю бумажный хлеб, очень сильно напомнило мне давний её цирковой вид перед первым выступлением. Станет вдруг тихая, чуть двинет верхним веком, а потом скажет то, без чего мы обе обошлись бы.

— А от мастерской на Театральной вы не видели железный ключ? — спросила она. — Я уже шестую неделю его ищу.

Из большого вывернутого кармана что-то упало на пол у неё под ногами. Звук в этой комнате не нуждался ни в какой подписи.

Глава 2. Город на подкладке

На половике лежал десятикопеечный жетон. Геля медленно разжала пальцы. Видно было, что первый миг она принимала его за собственный ключ, и то, как откликнулась рука, ей не понравилось. Я подняла жетон. Он был оловянный, не ценнее оторванной заклёпки.

— Эти тут у старого автомата с кофе отрываются, — сказал Борис Акимович. — Сколько плакали. Кажется, сейчас выпадет твоё самое, а падает чей-то дурной кофе.

— Это вы нам фокус показываете?

— При мне можно было сколько угодно фокусов показывать, но самому мне руки не даны. Не суй это в карман, Милена. Ты заблудишь человека, который со второго этажа ходит каждый раз пить сладкий чёрный напиток. Он у него с солью, между прочим. Стоматолог посоветовал беречь сахар.

Пол как будто перегнулся через себя и расправил новую полосу дорожки. Тот самый огромный чёрный кошелёк, о котором я, почём зря, слишком много подумала по дороге, больше не распахивал пасти. Его крышки сошлись, на одном ржавом пятнышке уже сидела нитка. Впереди, хоть стой в кабине сколько хочешь, виделась цепь тихих дверей. Если подойти к первой и протолкнуть её в круглый зал, оставшиеся вытянутся дальше свободной полосой. По внутренней поверхности они все были обиты ноской хлопчатой подкладкой. На чьей-то сохранились три малиновых строки со штампом инспектора. Я провела ладонью по ткани. Тёплая, сверху влажная. Будто перед нами здесь кто-то спешно одевался.

Я шагнула за Гелей. Она встала у первого разошедшегося шва, сунула в отверстие руку. Мгновенно вспорхнули и упали на её правую туфлю металлические кольца. Ни у одного на связке не было ключей. Мы перебрали их штуки три: овальное, толстое с двумя дырками, спортзальное на резинке. Они были общие, эти потерянные кольца, и невозможно было бы сказать, у какого сейчас за спиной закрытая дверь.

— Сначала надо вспомнить, что потеряно. Поточно у нас сами забирают только ватные палочки и книжные закладки, — сказал Борис Акимович.

По нашим лицам он, кажется, понял, что никакого удовольствия от его скобяной поэзии мы пока что не получили.

— Вы впрямь хотите сбегать за дверцу и вернуться к своей работе, — сказал он. — По-моему, это нормальное желание, особенно когда у вас рабочий день начался. Если ты не считаешь, Ангелина, что должна точно нынче забирать свой ключ, мы все пойдём назад через два шага. Наперёд не пробились, никому ничем не обязаны.

— Почему вы здесь?

— Я покажу, где надо выйти. У вас буква, — пропустил он мимо ушей её вопрос.

— Пусть будет, — сказала я. — Гель, у тебя работа есть, можно пока сделать ключ, запасной-то что, не дают?

— Я у начальницы взяла запасной. Тот, который потерялся, из самой первой связки, и мне Людмила разрешила оставить его у себя. У неё он был, когда остались от прежней мастерской ровно одна мать и двенадцать кукольных черепов на окне. Каждый день ходила красить их в разные цвета: всё нет помещения, а работа уже есть. Когда мне его вручила, сказала, на будущую собственную мастерскую имей в виду, настоящая мастерская начинается с ключа. Вот у меня и вышло, что старая-то есть, а новую я потеряла.

Борис Акимович перестал прикидываться рассеянным. Он поправил своё плечо с грузным кожаным портфельчиком. Оглядел нас от ног до головы.

— Раньше работала в первом складе у выхода на Театральную? Ключ можно узнать, по какой части?

— Серебристый, на конце три одинаковых круглых зубца. Шейка с поломанным ободком от брелока. И на обратной стороне, если присмотреться, синяя неприличная рожица. Её актриса нарисовала для меня ногтем, намазав фиолетовую пасту. У неё тогда вынули сразу два молочных, она не умела рисовать на гладком. Не взрослая актриса, мы занимались с малышами.

Мы пошли дальше. Из карманов выглядывала обычная мелочь: обёртка от карамели, поилка для хомяка, огрызок театральной афиши. В одном кармане помещалась целая кормушка. В другом пахло морем. Я подняла голову. Оказалось, что мы идём вдоль изнанки огромной мужской гимнастёрки. По её хлопчатой спине медленно перебегал свет, словно кто-то на самом деле носил наш город на плечах.

— До того как попасть на этаж, — сообщил Борис Акимович, — вещь должна хотя бы раз войти в подъезд через наружную дверь. Эта кормушка здесь была на школьной выставке, в тот год, когда в вашем доме заменяли водостоки. Ваша, Ангелина, мастерская не помещается в доме. Но ты носила ключ в нём сто раз, значит, этому ключу есть куда вернуться, даже если у тебя он выскользнул в трамвае или упал в воду с моста. Входит по факту потери, как только выяснится, что тот, кто потерял, не сможет найти в обычном месте.

— То есть вся бывшая хозяйка двадцать третьей квартиры, — спросила я, — что в шестьдесят втором каталась я знаю куда с каким-то красивым военным, если однажды потеряла на Тихом океане своё шёлковое…

— Не торопись за чужим приключением. Во-первых, нужно знать, что именно ищешь. Во-вторых, вещь выбирает того, кому принадлежит. Без его разрешения забрать нельзя. Или он может согласиться при тебе. А в-третьих, если ты её унесёшь туда, где сыро и гудят трамваи, лифт попросит всё-таки что-нибудь взамен.

Я всё ещё сердилась на него за тон. Разговаривал с нами, как в детстве, когда приносил пенсии соседям и будил спавшую после ночной смены мать. А Геля уже полезла в карман: тот был обшит мелкими золотыми стежками. На ладонь высыпались ключи. Один за другим чужие тут же соскользнули на ткань, остался серебристый, с круглой щекой. Синяя рожица состояла из трёх точек, и всё-таки Геля была права: выглядела она неприлично. Мы обе фыркнули.

— Такой, — сказала Геля.

Ключ лежал у неё на ладони. Тени в складке только что раскрытой ткани сошлись, заполнили собой стоявшую у нас за спиной дверь. В нескольких шагах заработал механизм, который в переводе на человеческую речь звучал бы «неужели?». Я разок могла оставить без внимания то тихое, но совершенно особое «ах», которое протекло по бархатным стёганым стенам. Сейчас оно прозвучало снова и вместе с ним выдохнул Борис Акимович.

— Возврат человеческой вещи стоит человеческого пути, — сказал он. — Никто не обязан его отдавать. Можешь положить ключ обратно и вернуться домой. Никто не посмеет сказать, что ты изменила дому или Людмиле или той артистке. А если в самом деле хочешь вынести его сюда, выбери адрес в своей прошлой или нынешней жизни. Знакомое существующее место, которым ты можешь пользоваться. Своё. Откажешься — не сумеешь туда добраться, пока ключ у тебя или у того, кому ты его отдашь. Навигатор, троллейбус и попутный близкий человек не помогут.

У меня тут же вспотели ладони. Даже скверное кафе на Заречной стало вдруг жалко. Меня однажды туда не пустили за пять минут до закрытия. Я представила, как лет в девяносто мне всё-таки захочется сациви, а я пройду в десяти шагах от знакомой двери и не смогу свернуть.

— То есть любой магазин, куда ходишь, годится?

— Должен знать, куда идёшь. Даже если тебе изменят название, уберут продавца и переставят прилавок, будешь знать, что пришёл верно. Что-то надо будет от себя отрезать.

— А если я потом захочу вернуть дорогу? — спросила Геля.

— Пока вещь существует и тот, у кого она находится, по своей воле отдаст её назад, обмен можно развернуть. Другой дороги в то же самое место сойтись не получится. Мы не ломаем город, не меняем обстоятельства, не переносим дом. Тебя до знакомой двери больше не доведут ноги. Если наскучит ключ — не бросай где попало. Отнесёшь именно в мешок или на полку, где лежал. Возвращение само по себе тоже твой выбор, и бесконечно за тебя его делать никто не станет.

— И я могу за неё сказать «во двор, где эта женщина любила читать»? — спросила я.

— Хватит называть меня «эта женщина», Мила, — сказала Геля. — Я здесь стою и слышу. Это ты в фильме за чужих решаешь, как кто задышал.

— Если твоя подруга, — спокойно ответил Борис Акимович, — даст согласие взять ключ за твой отказ от пути, можешь. А если ты решишь расплачиваться её именем, отвернёшься, дёрнешь её за волосы или объявишь, что так для неё будет лучше, просто ничего не произойдёт.

— Слушай, — сказала я, — я вообще не хотела дёргать её за волосы. Не выступай, пожалуйста, как будто всю мою жизнь был очевидцем того, как я за волосы таскала мирное местное население.

Геля отвернулась, у неё покраснел кончик уха. В детстве она краснела ровно таким же образом, когда в неподобающем месте её вдруг разбирал смех. Меня мгновенно отпустило.

— Рея, — сказала она. — Беру ключ. Отдам «Рею», магазин на улице Пашкова. Вход во дворе, после рекламы минеральной воды с сатиром, что держит ладонь под бутылкой.

Я ожидала звона, как при удачном попадании в цель. Ожидала даже, что Гелино тело лёгким движением повернётся навстречу ветру в сторону улицы, на которой играл старый наш магазин. Ничего не случилось. Нитка на клапане кармана просто миновала одну пустую дырку, ещё одну и вошла в последний стежок насовсем. Остался ряд тугих крупинок. Можно было проследить глазами, где начиналось и где прерывалось её правильное прошлое движение, точно на животе у давно перенёсшего операцию человека.

Борис Акимович протянул ей кусок вытертой обойной бумаги. На ней проступили адрес и описание того, что она теперь взяла. Он не просил подписываться. Ему было необходимо убедиться, что Геля понимает свой выбор.

— Давно туда ходила? — спросил он.

— Неделю не прошло.

— Давно этот ключ искала?

— Полтора месяца. Я оба их давно знаю и однажды смогу вернуть ключ, если решу.

— Ты ещё что-то там забыла.

Она обернулась. На месте, где торчал прежний карман, теперь просто проплывал большой рукав, вывернутый наизнанку. От кончика его свисало жестяное колечко с притёртым к нему пятном от жевательной резинки. На колечке висела маленькая красная лаковая морковка. Обычная, копеечная глупость, которую могли бы вешать к ключу от мастерской вместе с благодарностью и весёлым именем. Геля глянула на него и отвернулась.

— Брелок чужой. Скорее всего предыдущей мастерицы, которая мне ключ отдала. А я её ни о чём не спрашивала.

Старик сдвинул пальцем колечко в ткань. Его медная пуговица заблестела, лампы под потолком потускнели на секунду и снова сделались похожи на четыре обычных еле видимых лампочки за квадратным матовым потолочным стеклом. Послышалась перебежка обычного лифта — вверх или вниз, по этому звону с ходу не разберёшь. Со стороны кабины скрипнули две потертые старые половинки дверей. Я узнала человека, показавшегося в проёме, раньше, чем он узнал меня. Сосед Лин, высохший, аккуратный, в жёлтой кепке с эмблемой прошлогоднего легкоатлетического марафона. В одной руке дымился стаканчик кофе, в другой пачка сахара.

— Застряли? — сочувственно спросил он нас. Посмотрел за спину. — Кажется, дождь у них прошёл за это время, солнце под окнами хлещет. А у вас красные лица. Внутри душно, что ли? Помогает перед походом вниз зажаться носом в платок, никакой психологии тогда не останется, спорю. Мила, тебе пакет не надо?

Я не оглянулась. Очень хотелось оглянуться, но разнообразное литературное прошлое научило меня, что, когда заколдованная дверь захлопывается и ты пытаешься проверить, действительно ли за спиной был хотя бы один рассыпавшийся грустный ключ, хорошо бы при свидетелях удержаться. Я нашла ладонью горячую Гелину руку. Та одним встряхивающим жестом скинула мою ладонь. Вторая её рука сжимала ключ, не дадут соврать те три кружка, которые некогда нанесла туда девчонка с краской на пальце.

Внизу, в почтовом уголке, Майя снова сидела с Розалией. Вручили ей букву. Розалия, отступив на шаг, набросала пальцами подобие рамы в пространстве, пододвинула бабушкины пальцы и бронзовую «Ж» влево на полсантиметра, одобрила. Там и приклеили её к тёмной эмали. Майя заглянула за двустворчатую дверь, проверяя, не спутали опять их с Лином ящик. Дала мне из кармана мятную конфету. Конфета оказалась непривычно тёплой. Горела у меня прямо под пальцами. Когда я её развернула и съела, всё то, что произошло наверху минуту назад, сделалось настоящим.

— В «Рею»? — спросила я Гелю, когда обе соседки отошли под дверь с колясками.

— Мне же можно хотя бы попытаться и сразу узнать. Представляешь, если нет? Тогда куплю там проигрывателю иголку, у меня запчасти на сезон заканчиваются.

Я ждала обычного «позвони, давай вечером». Геля передала мне коробку на цепочке, высвободила из внутреннего кармана старую зелёную куртку и с размаху набросила её на плечи сверху джинсовки. Выходя из подъезда, взяла меня на секунду под руку, как брала когда-то девчонкой. Потом вернула мне мои чужие двадцать пять лет и пошла чуть впереди.

Глава 3. Стол пропажи

У сатира над фонтаном пропала металлическая бутылка. Теперь одна его пустая ладонь склонилась над другой; в таком виде он мог бы лет сто спокойно изображать человека, который тщетно ищет в кармане мелочь. Вокруг торговали специями, шапками, детскими настольными играми. До Пашкова от нас было две улицы прямо и одна за угол.

Я притормозила у арки. «Рея» была в двадцати шагах, надо только обойти по часовой стрелке короб с облупившейся картошкой и свернуть направо. Из её окна давно уже висел бесформенный дутый кот на чёрной швейной нитке. Раньше продавец вешал его по субботам, чтобы прохожие видели, что сегодня открыли, а дальше ему, должно быть, наскучило приминать довольно нежные кошачьи бока своим долгим расписанием, и теперь кота не снимали всякий раз с кипенно-белого карниза.

Геля прошла возле картошки. Я пошла за ней. В просвете распахнутых деревянных ворот виднелся серый рукав продавца. Никаких разрывов в положенной нам жизни и поворотов вокруг не было. Все детали были нормальные, в том числе оторванный край от рекламы шапок — какая-то собака долго царапала сырую промокшую женскую щёку. Осталось только повернуть направо.

Геля подняла с тротуара небольшой кленовый лист, подошла к рекламной стойке и отвлеклась. У разносчика детских игр из-под локтя медленно падала на дорогу целая связка упакованных в сетку лото. Она подхватила их, кинулась прислонить к стенке под навес. Стоило ей обойти стойку, чтобы оказаться в той арке, на которой я остановилась, как она уже шла совсем с другой стороны Соляного моста, с непривычной перспективой дутого кота и теперь здорово подпорченной набережной позади.

Я побежала за ней. Ноги, к счастью, никуда не закатились. Обошла короб с картошкой, вошла во двор. Под приподнятым вечно-на-ниточке котом сидел сам продавец Валерий Фомич, немолодой, но с таким хорошо причёсанным чёрным чубом, что я когда-то целый месяц подозревала его в ловком хранении дешёвого лондонского парика. У него из рукава было видно костяное запястье. На запястье висели три резинки для денег, больше денег я там ни разу не видела.

— Здравствуйте. А не проходила сейчас здесь Геля? — спросила я и почувствовала себя идиоткой.

— У меня и Геля, и антиквар Климентий обычно сами сюда заходят, если рядом идут. А сегодня у меня пока только ты. Возьмёшь старый фильм? Есть про мадам Бовари. Четыре пластинки, у отца моего с картой огородов общая целлофанка, сохранились.

— Я пока ещё не знаю, можно ли вернуться, — честно сказала я и вышла обратно.

На Соляном мосту Геля стояла, глядя вниз на машины. Половину выбеленки на ограде подобрали к старому бледному цвету, в другой части упорно возвращался к делу кирпич — тёмный и пёстрый, будто сам туда с прилавка ушёл.

— Мне показалось, что надо отвезти эти бочонки до поворота, — сказала Геля, не дожидаясь вопроса. — Пять секунд. И вот я больше туда не шла. Думаю, а почему я вообще к мосту спустилась? Никакого ответа. Смотри, давай ты меня за запястье возьмёшь. Если будет както больно, я скажу.

Я взяла её за руку. Она сжала пальцы, отвернулась. Из арки прямо на нас покатилась тележка с грушами. Я отступила влево, Геля вправо. С ящика свалилась груша, мы обе нагнулись, продавщица попросила помочь докатить тележку… Через две минуты я всё ещё держала Гелю за рукав. Мы сидели на скамейке в сквере на Тихой. На траве женщина кормила черепаху помидорами. Всё перемещение уложилось в два человеческих решения — уступить дорогу,

помочь с покупками. Ни одного мига, о котором можно было сказать «вот тут нас перенесли», я не запомнила.

Геля сидела, тихонько сгибала и разгибала пальцы. Белый шрам у её левого большого пальца был виден как пятнышко старой водостойкой краски. Этот шрам я впервые увидела в двенадцать лет: когда она размечала на полу круг для двух десятков бумажных пассажиров, от летней жары лопнула пластмассовая ручка циркуля, и её задело. Крови почти не было. Но мама успела дать Геле выпить стакан вишнёвого сока, прежде чем та плюхнулась на пол без сознания. Будучи очень сноровистым человеком в настоящей житейской опасности, моя подруга одновременно счастливо боялась любого намёка на шприц и вида плохих актёрских капель.

— Я считаю, что эксперимент окончен, — сказала она. — В «Рею» невозможно и не хочется теперь. Вернее, я просто себе это сказала, а как раз хочется ужасно. Там снизу за прилавком стоит белый проигрыватель, который я ранней осенью у Фомича выпросила. К пятнадцатому вношу последние свои двести пятьдесят. Он же не виноват, что теперь моя нога больше туда не войдёт.

— Я могу ему занести.

— Да. Даже денег можешь отнести, это тоже всё равно настоящий магазин. Если каким-нибудь образом он мне поставит то же самое перед новым местом, где я работаю, я доберусь и спокойно возьму проигрыватель у него из рук. Часть всего этого, может быть, должна быть навсегда. А ещё из всего этого следует, что наш старый сосед уже не растёт с одной шрамной своей звёздочкой у нас на лестнице.

— Он лет десять назад перестал обходить квартиры, — сказала я. — Если честно, я считала, что он умер. Не слышала ничего про похороны. Когда в городе была, вдруг встретила его напарницу, она сказала что-то неопределённое насчёт длинного трамвая. У нас все, кто пропадал надолго, в какой-то момент или на Борисоглебской на кладбище, или же на длинном трамвае уехали в хорошую деревню. Ничего другого не водилось.

Геля ёрзала. Болтающиеся детали коробки за её спиной издавали короткий звук, прямо как кто-то беззубый брал у тебя кусок бумажного хлеба.

— Мы можем его спросить, — сказала она. — Сперва мне до мастерской. Потом надо зайти в «Спутник», на вечерний осмотр, там пустят в фойе монтировать нашу эту голодную семью. Только сенсации не строй, оно там сделано из целых восьми едва ходящих табуретов, чёрной тряпки в рост человека и уже существующих кусков картона. Что в нашей жизни происходит, может, легче выяснить после обычного перспективного ушиба, поставленного в хороших условиях.

— Что делает в вашем спектакле семья?

— Делят ужин, когда из дома пропала вся мебель. У них большая родня и много сытых ртов. Может, после обеда режиссёр решит поменять местами стол и сына, там сложные отношения у них, всё может быть. В «Спутнике» последний день открытых дверей в следующее воскресенье. После этого само здание проще обнести, убрать навес и демонтировать вход. В фойе семнадцать старых диванов сгорело в позапрошлую зиму. Участок передали скверу. Те, кто кино показывал, сохранили технику и теперь переезжают в Дом горархитектуры.

Я сняла с её спины тяжёлую коробку. Несла её минуту, прежде чем поняла, что подмышки у меня под крупным прямоугольным основанием так и съезжают, а Геля за восемь лет научилась брать исподний край и чуть поддерживать весь этот деревянный мир коленом. Мы до театра добрались целыми. Геля вытащила свой найденный ключ и попросила меня посмотреть, не испарится ли металл на обычном дневном свете. Рожица была синяя, блёклая, но явственно с двумя круглыми настоящими глазами и морщинкой ухмылки у третьей точки рта. Повернула в двери. Дверь открылась.

В мастерской пахло клейстером, мелкой сосновой пылью и маринованным перцем: техничка Татьяна на зиму закатывала перец всему кукольному подразделению. В углу на длинной

доске носом к носу стояли зеркала, так что, если войти и прищуриться, всё множество твоих отражений побегут гурьбой на каждой стороне, друг дружке навстречу. На пороге между ними сидела кукла-тросточка, на одном ухе моток ненужной голубой пряжи. Куклу звали Трёхногий Архипелаг. У неё были две ноги, а третьей считалась палочка, на которой она нравственно висла по ходу сюжета. Я проводила с Архипелагом немало послеобеденных часов, хотя всё это было в другой мастерской, в гостиничном подвале, когда Геля едва возвышалась над плоской ладонью человека, наспех изготовившего нам для первого спектакля такого кривого героя.

— Это очень хороший ключ, — сказала я.

Она глухо отозвалась: «Очень» — и посадила новую игрушку, которую я до этого считала синей ватой, на плечи старому деревянному Архипелагу. Оказался снегирь. Пока ещё без красного пятна на груди, с недоделанными немного насмешливыми глазами, но уже птица. Я не стала ей говорить. Достаточно было понять, что вся наша дорога привела к реальному месту, где надо что-то шить и о чём-то вспоминать.

В «Спутник» пошли вечером. Половину дня я возвращалась к своему фильму. Редактор просил внести короткое пояснение в начале новой сцены: зрителю надо знать, кто стучит, у него же нет возможности узнать человека по известной мелодии звонка. Я согласилась с фразой «три звонка подряд», дальше вписала тихое «мама», которое героиня, оказывается, сказала уже после того, как села к окну спиной. Несколько раз промотала до этой сцены. Исправила «шпильку» на «заколку». И тут дело кончилось. Пять минут смотрела из окна, как проезжающий компаньон собаки важно перезнакомился с соседскими людьми, а собака задержалась у столба и на полминуты перестала за хозяином наблюдать. Было мне уже наконец разрешено сделать перерыв и прожить два часа самостоятельно.

«Спутник» строили как красивый зал на одно-единственное важное событие. С тех пор шли обычные дни, а его белёная роскошь оставалась. Сверху там были прикреплены два больших шара и стилизованная дуга посередине. Если бы у маленькой ёлки оказалось всего две красные игрушки и кусок старой проволоки, эту ёлку тоже можно было бы гордо назвать «Спутником». В кассовом окошке сохранилась зелёная рама с жестяным объявлением «Последние два ряда на сегодня отсутствуют». Сегодня там отсутствовали уже все ряды. Был чей-то Большой зал, сейчас пустой чуточку сильнее, чем прежними буднями. На площадке собирали как раз один из элементов для последнего спектакля. Ящики с режиссёрскими материалами поставили вдоль пологой стены в две непохожие шеренги.

— А ведь тут реально был стол пропажи, — сказала Геля. — За кассой, где выдавали подушки. Если видел опять, как улетает непривязанное крыло у голубя, мог прийти получить его до пятницы. А позже передавали «девушке внизу». Клянусь, я понятия не имею, куда именно было внизу.

В зелёном кассовом окошке вдруг показалась наша звёздочка. Борис Акимович вышел через приоткрытую створку, держа в неуверенной руке кулёк с очень белым, уже оседающим картофельным пюре. На голове у него было пять или шесть крупных белых снежинок. Сентябрь, насколько я знала, пока снега не обещал.

— Узнали всё-таки дорогу, — сказал он.

— Мы не к вам, — ответила Геля. — Мы по работе пришли. Это вы здесь, я смотрю.

— Для меня это приблизительно одно. Здесь могу сидеть полчаса во время какого угодно сеанса, даже если этого сеанса у них теперь нет. У меня жена водила за кассой озвучку детских загрузочных игр для малышей. Даже у годовалых есть интересы, им тоже было по понедельникам чем заняться: играть в этих их птиц с кормами. А я по выходным забирал её отсюда из-за верхней пострадавшей рамы. Это теперь единственный адрес из моих мест, который сохранился.

Мы с Гелей одновременно посмотрели на срезанную трубу отопления, одну грустную надпись поверх зелёного окна, на кусок вывороченной уже глухой стены. Геля переставила с места турникет в тонкой двойной оплётке, провела ногтём по отслоившейся краске.

— Выход пропадёт? — спросила она.

— Почему ты всегда только спрашиваешь то, что и так можно по тебе прочесть? Да. Когда нет кассы, нет такого места. Остальные знакомые мне адреса я раздал. Если не знаешь сам ни одного выхода, остаёшься там. После воскресенья придётся остаться. Я правда мог прожить подольше в наших домашних местах, только поздно про это дело вспомнил. Будто держал когда-то свои дороги связкой и дёргал, как канаты, пока казалось, что другие никогда не порвутся.

Борис уселся на табуретку под зелёным окном. Пюре бодро дымило в бумажном кульке. Он знал, что вокруг сделана пауза для его объяснения, но, видимо, не всё себе объяснил сам и теперь подбирал в памяти хотя бы одно надёжное действие. Протянул мне кулёк.

— Там не пюре, — сказал он. — Я вылепил шарик снега из давнего мешка. Откуда на вас эти мои дурацкие снежинки падают, вы наберётесь, даже если молчать буду. Не толкай в рот, не позволю. Там у меня есть дочь. В обычном городе. Её зовут Алевтина. Она вон через ту кассу сама больше ко мне не ходила уже много лет, а я в последний раз попросил, чтобы и не ходила. Она послушалась. Разумно было бы сказать, что у меня самого теперь другие мысли. Если ещё не поздно. Если не хочет, можно просто передать. Мне знаешь что страшно, Мила?

— Что? — сказала я.

— Придумать аэроплан, а потом бояться попросить человека вернуться пешком.

Мне сразу не понравилось, что он говорит это так коротко и по делу. Мы с Гелей тоже могли бы несколько лет назад оставить на подоконнике записку с подходящим для этого дня словом. Что-то обыкновенное вроде «ну приходи». Она преступно мало стоила, такая записка, и другие способы неплохо пожить сорвались из-за цены повыше. Я положила глаза на зелёную кассу. Геля запустила пальцы в маленькую кучку картофельного снега и выложила на его краю ровный след.

— Для начала, — сказала она, — вы скажете нам самим, что ей сказать. Сорок конструкций про аэропланы и вылеты мы можем по дороге перепутать. Мы обе успешно умеем портить даже очень хорошие тексты.

— Скажи: «Аля, это папа. Я в старом кино до воскресенья на следующей неделе каждый вечер около семи. Хочу увидать и поговорить. Если откажешь, приму». Больше ничего. Она любит внятные сообщения, ты почти точно знаешь, какая она.

Они нашли карандаш и бумагу в кассовой корзине. Старик написал четыре понятные строки. Расписался полностью. И всё его художественное воспоминание об аэроплане оказалось вдруг вполне выносимо, потому что нужные слова он сумел записать и отдать в обыкновенные другие руки.

Глава 4. Зонты по росту

В пятницу, когда в городе начался дождь, в доме на Лучевой открыли кабинет разбирательств.

Три семьи оставили утром зонты в корзине возле диспетчерской. К вечеру ни одного не осталось, зато нашлись свидетели совершенно другой пропажи пятилетней давности: тогда из корзины тоже вынули один тёмно-синий. Выяснилось, что приобрести в нашем городе зонт другого цвета почти невозможно, зато злодею с пристрастием к синему тут самое место.

Искать один из них прислали Ренату, одиннадцать лет, актрису Гелиной студии. Её отец на каждое выступление дочери приезжал с двумя пересадками. Садился всегда в третьем ряду, у стенки: он высокий. Иногда играл сам — из больших мужчин получаются превосходные первоклассники-куклы. Рената стояла у почтовых ящиков и пыталась серым карандашом нарисовать цвет своего зонта. Подписывала: тут розовый, здесь жабье золото.

— Я понимаю, — сказала я. — Это когда лягушка ещё жёлтая на животе, да?

— Какая лягушка на животе?! Я рисую цвет, когда мокрый жёлтый картон высох как уголь. В нашем спектакле так называлась жаба со шляпой, и полпачки такой бумаги Геля у меня в прошлом году взяла. У меня мать с ним и под настоящее представление пришла, и после него встретила меня такого же цвета.

— А ты вообще на каких ролях сейчас?

— Наша сборная лондонская кухня, — ответила Рената. — Я еда из сушёных абрикосов. Зонтик у меня не здесь живёт, я с ним в театр к Геле приходила. Потом занесла ей домой маску.

— Ну хорошо. Тогда сделаем с этим кое-что приличное. Это именно твой зонт или мамин?

— И мамин, и мой. Она его теперь даёт. Мы там обе смотрим друг на друга.

Я поняла, что мне снова не хватит пояснения от молодого поколения. А в лифте уже горело: «МОКРЫЕ». Сам он, в противность всяческому разуму, стоял открытый с шестью гостями, доставлявшими соседям бумажные пакеты. По пятницам наш подъезд снабжали лекарствами из городской сети, хлебом, коробочками с ужином и одним простым старым мешком цемента, за которым всегда посылали новую пару подростков. Кто-то использовал этот мешок, чтобы между двумя входами развозились квитанции или, вероятно, тайные ключи от государственного резерва. Никому не хотелось всерьёз держать маленький цементный завод в отдельном бывшем гостиничном номере.

Обычные курьеры видели только обычные кнопки. Когда мы поднялись на два этажа и оставили последнего курьера у закрытой двери Семёновых, красная строка вернулась под штатное «Стоп», а за ней втиснулась маленькая вторая: «До высыхания».

— Есть такая работа в интернете, — сказала Рената, — где сочиняют инструкции, как не заплакать ночью, когда уронила очки и они разбились. Можно убрать очки и порадоваться тому, что всё равно умеешь смотреть. Вы умеете смотреть длинный лифт?

— Конечно. Не совсем умею объяснять это чужим родителям. Зови отца или, если здесь, маму. Прошлым утром мы были вдвоём с Гелей и успели узнать важную вещь. Просто пойти с тобой туда, где фен держит летнюю резинку, я не буду. У твоей мамы зонт сколько лет? Она на самом деле хочет его найти?

Рената расстегнула красивую вельветовую сумочку в виде синей акулы. Там лежали три ручки, круглое разноцветное печенье, салфетка, две кривые пластмассовые ресницы и телефон с трещинкой над круглой кнопкой. Мать брала трубку без всяких сомнений: голос у неё был крупный низкий, как красивые виолончельные звуки, которыми музыканты прибираются к своей работе в оркестровой яме.

— Мам, мы с тётей Милой у Гели. Лифт предлагает поехать за нашим зонтом. Я ходила в театр и не забыла его точно, за канатом ищут уже сорок минут.

— Твой папа уже одну пару обуви намочил, носки теперь сушит на фенах. Подожди.

— Мам, можно так: ты спустишься, посмотришь на цену и скажешь, потом поедем в театр, а если не пойдёт, всё равно поедем?

— Да как ты со мной вообще теперь разговариваешь? Я тебе только что шторку держала, пока ты плащ надевала. Где мне ещё успеть побыть, чтобы это твое «спустишься» осталось в силе?

Мать действительно была в гостях по соседству у подруги, которая доделывала им театральное жабо. Через три минуты пришла с пустыми руками и влажным от утюга лбом. Рената вся пошла в неё, кроме узкого, одному отцу доставшегося подбородка и готовности верить всем неприличным возможностям нашего города.

— Вы меня, пожалуйста, не снимайте, — сказала мать. — Зовут меня Арина, тридцать восемь лет, я художник стекольной мастерской и когда-то шила на смежном этаже с вашей Полиной. У нас с ней однажды была выкройка, предназначенная исключительно для собак-игрушек, а она с неё сшила пояс к прелестному человеческому платью. Поэтому про цену можете говорить со мной вслух. Полина и подороже со мной спорила.

Я засмеялась, пригласила Гелю на этаж, и лифт, словно ждал, когда будут все четверо, разом выключил у нас под ногами жёлтый салонный свет. Дверь плюнула ветром нам в лица. Из огромной тёмной стойки раскрылась полоса речного берега. Точно так же возможно войти в начатый кем-то общий сон: для начала ничему не удивляешься, потом пятки твои докладывают на ухо, что они давно начисто промокли.

Под ногами крутился ресторанный пол из кусочков промасленного тёмного гарнитура, вроде дубовый, а весь в солёных лужах. С потолка сыпался медленный тяжёлый дождь. Смотреть прямо на него было бесполезно, капель там не оказалось, а когда протягиваешь ладонь, она сама набирает целый маленький тёплый бассейн, выплёскивает переполненную воду в соседскую руку. Стоя, я различила в дальнем углу обыкновенные мокрые зонты. Они росли перед нами, как будто на поле после прошлогодней жатвы — тонкие длинные стебли, глубокие круглые шляпы. Под самыми широкими можно было бы провести зимнюю субботу всем сразу, включая и соседей с их несчастным мешком цемента.

— Вот это красота, — сказала Арина, удивительно соразмерно оценив тихое городское событие.

— Пока только Мокрые. Остальные, если высыхают, убирают, — сказала Рената, соврала так убедительно, что все трое ей немедленно поверили и очень скоро засмеялись.

Мы обнаружили под ногами переплетение нижних тёмных корней. Оказалось, что ручки раскрытых зонтов просто оплелись друг с другом и за их прочным сцеплением осталось много острых и скользких мест, за которые можно зацепиться неспешным башмаком. Оттуда, где стояли мы, вверх поднималась короткая сухая лестница. В её середине, опущенными крыльями побрякивая, висел большой зонт с рисунком в дурацкую малиново-коричневую клетку. Из самой его нижней спицы свисала розовая тычинка. Жабье золото у Ренаты было похоже ещё на один высохший золотой лепесток.

— Мама с этим зонтиком была на моём первом выходе. Совсем мокрая и нарядная, ей тогда на двоих с папой пришлось взять один билет, — сказала Рената. — Ты ведь не из гардероба ушла? Ты сказала потом, что пальто потеряла.

— Пальто не потеряла, взрослая была. Пришлось дать одной девочке на задник, чтобы была ночь и яма. Так здорово было одеть ребёнка. Сидишь минут через двадцать в середине спектакля, и перед тобой огромное яблоко орёт от голода, и точно знаешь, что у этого яблока штаны в жёлтые бусы, а сверху твое пальто. Я бы сейчас хотела ещё раз тебя увидеть в том же месте. Кто такие ваши кураторы, как их совершенно недорого заманить?

— Никаких кураторов, — сказала Геля. — Наверное, сейчас, когда Рената всё узнала, а вы это видите, обе можете взять зонтик. Только в конце коридора надо будет отказаться от одного адреса, в который ходили. Серьёзно отказаться, после этого до него не доберёшься. Или не брать, тогда можно остаться с дорогой к дому и купить другой, если ваш никому больше на земле не понадобится.

— То есть если я скажу, что не хочу больше ходить в муниципальную контору прикладной графики, которая закрылась четырнадцать с половиной месяцев назад…

— Это место по-прежнему существует, вход там тот же? Вы помните, чем он вам был нужен?

— Я там держала вахту по средам, — сказала Арина. — Наихудшая в городе вахта, клянусь. Потолки такие, что на высоте рук не видно, свет плохо падает. Графика не в графике. Если бы знать, что я при любой попытке пройти туда стану оказываться в разных других частях города, мне, наверное, даже стало бы спокойнее.

— Мам, — тихонько произнесла Рената. Она глядела вверх, в своё мокрое жабье золото, на дальние бурые клетки. — Я не хочу, чтобы ты на нём всё равно вымокла.

— Но тебе же важно.

— Мне важно, как ты пахла там, рядом с нами. А знаешь как? Клеёночным верблюдом и большим чёрным перцем.

— Я, наверное, съела что-нибудь прямо по дороге. Там у перехода на Старой площади стоял наш любимый киоск, помнишь, они в чёрный хлеб заворачивали хумус и посыпали красным перцем? Я неслась, на ходу ела, только что с работы. Он-то мне и надел эти чудные другие духи.

— К маме этой можно пройти потом? — спросила вдруг Рената, не поворачиваясь, ни к одной из нас конкретно. — Ну если мы его возьмём, останется возле неё то, что было именно в тот первый раз? Из тысячи других запахов очень мало таких же.

Мы не успели ответить. Потому что Арина разжала ладонь. Кончик спицы выскользнул из её пальцев, жёлтый зонтик провернулся, аккуратно прошелестел, и свернулось в ничью ладонь поле, у которого не оказалось ни конца, ни нетронутого роста.

— Здесь только зонт, — сказала мать. — Ты уж прости меня, весна. Я останусь со своими улицами. И если хочешь, к тебе прямо сегодня в мастерскую приду с работы, в этом старом пиджаке, заново покупать тебе ничего не стану. Пойдём к мельнице на остановке, там люди блины пекут с чёрным перцем. Я специально один так и поднесу к носу, чтоб ты знала. Раньше мы не думали всего этого продумать по шагам.

— Повесим в конце за дверцу новый занавес, — сказала Рената. — И ты скажешь, что я яблоко. Я могу ещё быть рыжей тыквой, мне шаблон дадут вечером.

Они пошли к выходу рядом. Ни одна не казалась в трагическом смысле сиротой, от которой навсегда обеими родительницами откупились скучным новым зонтиком. Рената была всё та же выспавшаяся шустрая девчонка, мать у неё — крепкая молодая женщина в пиджаке, из которого получилась бы вполне настоящая сценическая ночь. Уходя, они обе осмотрели огромную раскрытую африканскую тёмную штуку на дальнем конце: на месте серебряной ручки торчал настоящий деревянный ананас. И удивлённо локтями друг друга подтолкнули. Видите! Бывает на свете и такое, не про их семью.

В кабинке мы долго не говорили. Когда вышли на обычный третий этаж, там уже играла в мяч беспризорная дворняжка Жаклин. У неё была хозяйка, которая, понимая преимущества трёхлетнего безраздельного семейного воспитания, всегда называла её беспризорницей, «а то если всем расскажем, как мы любим Жаку, вас могут потеснить люди с настоящими полицейскими собаками». Подали Жаклин пластмассовую миску с водой. Я поймала себя на глупом ощущении, что провела под дождём четыре часа, а теперь, когда можно наконец остаться сухой, не желаю ни пить, ни занимать себя чужой биографией. Хотелось супа и молчать.

— Суп будешь? — спросила Геля. Отцы театральных детей уже всё увезли: коробку, тряпки, муляжи. Настоящих четыре хлебные палки, к счастью, сгрузили вчера в буфет. Мы пошли к ней на восьмой этаж пешком.

Она устроила на кухне новую покраску. Мебель из-под окна сдвинули в середину, оставив у низкого подоконника только две фанерные коробки. Добрались до плитки, потрескавшейся задолго до нашего появления на этой лестнице, поставили большую кастрюлю разогреваться, сели на ковер и сперва ели из мисок лёжа, роняя суп обратно в тарелку. Выложили у изножья подушки и приподнялись. Получилось гораздо приличнее.

— Я сейчас бы времени отдала, — сказала Геля тихо. — Часа три того дня, когда мы вдвоём и не ссорились. Вдруг таких кто-нибудь бережно куда-нибудь складывает, как твоя бабушка синие чашки в мешки с песком. Мне бы не пришлось идти домой к матери Ренаты, чтобы ещё раз узнать этот чёрный перец.

— Куда бы отдала?

— В обычное никакое место. Куда мы их вообще отдаём, Милка?

Она назвала меня так впервые после лета, когда ходили по воскресным паркам с набором старых разноцветных булавок и придумывали интересные бедствия нашим картонным зайцам. Я отложила ложку. У неё возле уха была та самая совсем взрослая родинка, которая на пятнадцатом году уехала на две мили ближе к бровям. Форму лица изменили подростковая ярость и чужие руки, а насмешливые брови так и не изменились.

— Не знаю, — сказала я. — Я хотела что-нибудь сейчас объяснить важное, начиная с того, что детям надо, чтобы это было правда. И внезапно забыла. Мне нравится просто про зонтики. И что мой суп не на вкус как твой клейстер.

— Можешь оставаться, если не надо срочно бежать и выдавать субтитры. У меня диван свободен. И если будешь просыпаться от шороха, скажи хоть, какой это шорох, а то наши понимают только «опять за стеной скребёт».

Мы провели ещё несколько часов у приоткрытой форточки. Геля резала из пенематериала круглые ломти от яблока, я пробовала по-многу раз придумать неподлое слово для собачьего лая в фильме, где четыре минуты не происходило ничего, кроме очень далёкого утреннего лая. «Лает собака» подходило. Не надо было вместо собаки придумывать душу нараспашку. Мы заснули в двух разных концах квартиры, и поздно ночью я слышала, как большой настоящий мужик у соседей сверлил самому себе обрубленную терпеливую стену. Без всякой магии и без сколько-нибудь взятых взаймы дорог.

Глава 5. Четыре уха

Утром я обнаружила возле дивана две ноги. Ноги принадлежали отдельно стоящему неполному королю. Геля вчера отрезала им левую и правую ступню, одела в шерстяные носки и положила сушиться на чистой газете. При всём моём стремлении оставлять вещи без избыточных пояснений пришлось какое-то время объяснять самой себе, зачем неполному королю настоящие человеческие носки.

— Должны ходить по пустой квартире, пока хозяйка пьёт кофе, — ответила Геля. — Кукольник двигает ногами по очереди. На хорошем расстоянии получится, что у вас под столом кто-то живёт. Ты по натуре очень мало жила под столом, Мила. Так бы ты гораздо раньше научилась сносить смешную правду о себе.

— Лет до одиннадцати я там делала уроки. У бабушки за занавеску садилась, когда приходили мамины знакомые. Мы жили тут все вместе, и мне ужасно не нравилось, как взрослые, если зазеваться, могут гладить тебя по голове.

— Меня тоже гладили. Нравилось, когда пахло не горчицей.

У неё на кухне за ночь засох ковёр из мелкой сетки. Из угла выглядывали трубы. Толстый чёрный шнур начинался у батареи, огибал порог и уходил под стеклянные дверцы серванта. Запыхавшийся маленький утюг проехался по верхнему уголку, оттуда поднялась целая пчела розового сладковатого пара. Геля собиралась к одиннадцати в театр, показать режиссёру и артистам, может ли их король обойтись без остального человеческого тела. Я — к полудню просмотреть драму про двух старосветских младенцев, доказывающих владельцам города, что в нём можно безнаказанно пить на пристани пиво из кружек с золотой пеной. И прежде всего мы собирались похищать и преследовать никак не связанных с временными хозяйствами Бориных родственников. Именно эта часть утра казалась неуместной.

— Твоего отца помню, — сказала я, — лежал здесь на ковре с одной камерой и фотографировал, сколько лет ты каждую пятницу пересаживаешь бумажное ухо со слона на павлина.

— Отец давно живёт на водохранилище с Еленой. Подружился с её мелкими цветочными жуками и говорит, что чуть более понятных домашних животных в жизни не видел. Вылупляются, живут недолго, дохнут, могут стойко принять подарок в виде светлого фюзеляжа какой-нибудь дохлой стрекозы. А я на этой квартире одна. Теперь всё по-взрослому, зимой платила сетевикам такие цифры, что сама до сих пор пользоваться электричеством перестала.

— А что с нашей царицей сцен на первом этаже?

— Людмила по-прежнему в театре. Шесть на восемь. Говорит, мы с тобой, если бы тогда не захотели стать двумя отдельными умными женщинами, закрыли бы вполне приличное число взрослых ролей.

Я отодвинула куклу от собственной ноги, чтобы не потолкаться с ней в прихожей, и наклонилась завязать шнурки. Левый второй год норовил изобразить заячье ухо, правый завязывался просто и надолго. Геля замерла в дверном проёме, на её лице было то самое внезапное желание продолжить, которого я боялась у обоих. Не то специально ждала. Мы вдвоём работали с ненарисованным городом, забывающимся по частям, всерьёз принимали предложения откатать молодого театрального ребёнка по такому месту, про которое взрослые пока не знают, к какому городскому ведомству его вообще относить, и ни словом не вспоминали собственный старый театр.

— В воскресенье на осмотре спросили, могу ли сделать перед кукольной частью совсем маленький подарок городу, — сообщила Геля, когда я наконец поднялась. — Именно город из бумаги. Раздвижной. Две подсвеченные коробочки отражаются у них в раме киноафиши. Ответила, что подумаю. Интересно, если мы с тобой посмотрим на коробки, не станешь ли ты подглядывать, кто из нас с какой стороны нарисован.

— Старых не существует, Гель.

— У тебя были фотографии.

— Скорее всего у мамы.

Мы спустились ко мне на третий этаж. В подъезде после двух часов ожидалась пожарная проверка. Диспетчер Иван специально помыл кнопки лифта, с зеркала исчез смешной нос нашего учителя труда. Я включила чайник и заглянула в рабочие сообщения. «Мила, в третьем эпизоде только ключевые реплики. Пиво в стакане не хлюпает!» Ладно, пусть себе пенится незамеченным.

— Полина хранила свои снимки в коробке из-под киевского торта, — сообщила я. — Вот шкаф. Лезть наверх надо с табуретки, она с выносом, может дико перекосить, если поставить на трещину у бежевого шва. Вот сюда.

Геля влезла куда надо, протянула мне три круглые коробки. В первой на самом деле обнаружилось несколько старых тортовых свечей и пучок вишнёвой ленты. Во второй лежала взрослая Полинина игольница с пустым местом от старого серебряного напёрстка и несколько карточек «Дворцовые перевороты, эскизы реквизита». Третьей оказалась та самая коробка. На дне, под четырьмя открытками со смешными вывесками, выглянула стопка моментальных снимков. По три сантиметра самого изображения, сверху большой плотный бумажный ободок. Подписи принадлежали Геле. Здесь она уже знала, что каждая фотография переживёт бумажную вещь, которую изображает.

— «Переворот ящика», — прочла она. — Сзади сахар из дома Ходова, меловая тряпка с моего этажного штандарта и уводящие провода. А вот «Рабочий город пятнадцатого февраля». На всем городе пообещали сделать снег и не сделали. Помнишь, ты тогда написала, что из съедобного у них только снежная баба и собственные рукава. Я одну бабу всё-таки посадила, с коромыслом.

На верхнем снимке из трамвайного окна торчали четыре уха. В кадр попали два зайца из пяти, остальные трое ждали на остановке рядом с колбасником. Перед игрой каждый выбирал билет и вставлял его в прорезь. По ушам зайцев определяли, кто должен встать. На освободившееся место садились нарисованные пассажиры, один смешнее другого. Иногда бабушка оказывалась двумя приятелями с удочками, иногда освобождала сиденье ради корзины бумажных рыжиков. Последнему зайцу не доставалось места. Он ехал стоя, хотя сам придумал маршрут.

Название «Заяц едет стоя» дала я. Сразу влезло в одну строку на боковой стороне коробки. Геля сделала к названию такую красивую по-театральному жёлтую молнию, что одно время мы с ней перестали ради этого рисовать в школе стенгазеты: пешком споря, мы делали более крупное дело.

— Нет ничего ещё? — спросила Геля.

— Только эти поля. Было шесть катушек, три исчезли ещё до финала, остальное осталось на фотографиях. Нам тогда впервые предложили участвовать во взрослом конкурсе. Теперь четыре руки на снимке и у всех есть четыре уха.

Геля посмотрела на меня. Я помнила тот фестиваль до последнего слова. В первой строке заявки надо было написать имя руководителя. Вторую страницу — состав команды — я отослать забыла. Поначалу это казалось исправимой ошибкой: объявят меня, я сама назову Гелю и Людмилу Викторовну. Ведущий сунул мне микрофон и спросил, где я это всё придумала. «Дома», — сказала я. Сотни две человек смотрели только на меня. Мне понравилось. Вот что было хуже всего. Я насладилась этой секундой и убедила себя, будто потом всё исправлю.

Мы вышли из дома, не сказав этого вслух. Под Полининым окном родители выстраивали детские велосипеды в один кривой ряд. Переднему отдали победу в соревновании на максимальную непривычность: один большой надувной шар торчал из-под звонка, второй уже вцепился шнурком в педаль, так что сколько ни крути, без взрослой подпорки этому сооружению всё равно было не ехать.

— Я хочу узнать, — сказала Геля, — можно ли снять кино о таком городе, где история сделана по кускам из обычной картинки, а всё остальное там меняется от того, кто ей двигает. И если вдвоём делать, нужны разные подписи. В смысле заранее должно быть известно, кто что скажет на сцене. Я доверяла тебе хвататься за слова, потому что ты говорила лучше меня. Потом узнала, что слова могут очень хорошо заменить человека в дверях. Но и мне есть что тебе объяснить.

— Где переговорим?

— Воскресный эскиз сперва покажу Людмиле. И я бы позвонила твоей бабушке. Ты говоришь, от старшего выпуска только фотографии остались. А ей с Маяковской, скорее всего, в те дни могло попасть и что-нибудь ещё.

Полина с сестрой находились на рыбном рынке и говорили со мной сквозь звонкую местную торговлю жаропонижающими травами. У рыбного продавца была раньше своя личная грядка валерианы, которую он в нынешних жизненных обстоятельствах решил употребить как дар природы на пользу всей округи. Теперь из одного края ряда в другой по телефону полезли детали, насколько щука лучше лечит от распалившейся лени, если залить ей перед тем рот валерьянкой.

— Ангелинку передай, — сказала бабушка.

Я включила громкую связь.

— Эта, — произнесла бабушка, когда Геля ответила, — вас Бог старательно сшил вместе, а нитку в игле два раза повернул. Да, у нас твой голос на кассете был и фотографий несколько. Слева от холодильника, белая тортовая. Однажды ко мне явился людей пожилой, искал скотч и широкую ленту. Тогда тоже думала, может, хочет узелки вместе с одеждой украсть, а он совершенно просто ящик подбирал с улицы. Вы его теперь нашли?

— Какой ещё ящик?

— На колёсиках который. Большой, рыжий, из бывшего забытого гардероба. К нему вы всегда всякие вещи выносили, платки, обувь, репродукции, фоторамки. Кто хотел, приходил и забирал. Геля у меня спрашивала, можно ли туда поставить ваш театр, а я подумала, она решила отдать эти старые грязные поля от средней осени годовалым детям на забаву. После войны я сама таким детям собирала по открытой площадке строительные кубики, из одного синего помню составили дом, который даже построить потом успели настоящий. У меня лишних кассет не было. Ничего не давал мне, спрашивал. Так с пустой коробкой и осталась? Ну и что? Не было никакого обещания, сами же один раз…

Геля отвела телефон от моего уха, сидела на невысоком бетонном борту клумбы, повернув лицо к красным поплывшим от дождя календу́лам, всё-таки более ржавым, чем простой цветок полевой железной дороги. Я могла бы догадаться уже тут, что у каждого из нас тогда в руках побывала та самая тележка, просто на разном этапе, а возможно, её и нечем было спасать с самого начала. Только если прежде Полина представляла мне всё-таки человека, от которого ожидаешь злой, но прямой схемы, то сейчас за рыбной спиной она говорила как давний житель после продавленной крыши: пока одна вещь не упала, ты четыре раза её держишь, а как упала, вдруг кому-то срочно хочется найти ответ, кто и когда её первой не спас.

— Не надо мне кассет, — сказала я. — И ящик… я по работе спрашиваю.

— Если через мусорную шарашку будете ходить, посмотрите у левой горки, не вывалился ли мой напёрсток. Помнишь, от Лилечки остался. Невеликий он, даже дешёвый. Что легче, наша Милость: потолкаться из-за него у пола или оставить, чтобы кто-нибудь нашёл? Лучше всё-таки второе, глядя, кто с тобой. Вы как галки у нового таза, до чего легко можно поссориться!

Рынок загудел, связь оборвалась. Геля посмотрела на меня.

— Твоё теперь берёт, да? — спросила я. — Что ты меня не опередила сама, предлагая отдать нашу работу детям? Непосредственно после показа с той большой сценой.

— Лучше я скажу как было, когда смогу. Потому что сейчас я скажу, что ты первая написала не то, а ты в ответ скажешь, что тебя никто не просил следить за мной у тележки. Обе как-то нехорошо справляемся. Сколько у тебя времени быть плохой?

— До семи.

Мы широко, с какой-то удивительно знакомой детской синхронностью потянулись, коснулись пальцами пыльных зелёных листьев у дерева. У старого кинотеатра, пока не приехала монтировать декорации дневная смена, можно было встретить того самого человека, замеченного некогда у тележки. Нетрудно было прибавить одно плюс другое: Борис пропал примерно тогда, когда мы впервые начали бродить по городу отдельно. Но для того, чтобы окончательно сойти с места, где стоим, всё-таки нужно не объяснение, не догадка, не пинок под зад. Сначала надо выслушать другого человека. Иногда это напрочь отбивает желание, восторженно крича вслед, тащить его в большие судьбоносные двери.

Когда Геля оставила меня на тротуаре, Майя Журавлёва как раз вышла из нашего дома с тяжёлой зелёной флягой в чехле и двумя складными алюминиевыми палками. Для серьёзной спортивной работы время было похоже на случайное, но рыжеватая от ещё и не думавшего остывать по-настоящему солнца середина дня вполне годилась на первое знакомство с ближайшими оврагами. Я спросила, не слышала ли она кого-либо из прежних работников почты по фамилии Мелех. Дочь у этого Мелеха пропала, в переносном смысле: надо было просто вручить письмо.

— Алевтина? У неё собаки, — ответила Майя. — Вообще там не Альке надо просить Боре помогать. Я ему в свое время помогла такой вещью, что до сих пор сама не пойму, сколько стоило. Точнее, вещью-то помогли мне. Ещё на Володином пальто такой зелёный номер из гардероба висел, шестьдесят четвёртый. Когда он первый раз ушёл к Соне, я этот номер оставила себе. У меня, знаешь ли, глаза имеются и обоняние. Если что уносили, я всегда замечу, неважно, жив ещё человек или два раза умер. И вот номерок пропал, а Боря вернул. Ты лучше пока не спрашивай, как.

И убежала, хотя палками в нашем городе до неё всё ещё серьёзно никто не пользовался.

Глава 6. Платформа без поездов

На торцевой стене почты осталось светлое пятно от городского герба. В девяностые его сняли и приклеили на это место эмблему службы доставки. Потом сняли и эмблему. Я помнила две чёрные дужки, похожие на ласточкины крылья, и каждый раз, когда мы с Гелей покупали в соседнем киоске мороженое, мне хотелось залезть ей на плечи и дорисовать птицу.

В субботу после обеда мы с Гелей позвонили бывшей напарнице Бориса Акимовича. Для этого я на время устроилась возле его почтового отделения, чтобы пожилая женщина сразу поняла, что говорю о настоящем человеке с настоящим адресом. Из нашего подъезда он ходил на работу через Соляной мост, мимо кинотеатра и почты «Последний разворот», хотя официальное название у неё было гораздо сложнее и без всякого намёка на конечные петли. Напарница жила в хорошем уме и приятной рассудительности. Беспокоить её прежде семи за Бориным номером мы обещали в первый и последний раз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.